
Термостат
Термостат
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Термостат

Термостат

«Автор»

2026

Термостат

Термостат / Термостат — «Автор», 2026

Ветер в Тени дул всегда в спину. Он не приносил ни запаха, ни погоды — он просто был, как уклон у дороги, и нёс к югу всё, что не прибито: пыль, гильзы, дым и крик. Пыль была чёрная. Её ели с хлебом. Когда откашливались — плевали чёрным. Слёзы, если они ещё случались, оставляли на лице чёрные дорожки.Солнце выходило на два часа в сутки и светило с севера, красное, без тепла. Тени людей ложились впереди них и шли к Трубе первыми. А над столбом, если ветер на минуту открывал черноту, стояла одна неподвижная звезда. Дома её звали Гвоздём.На северном вокзале, под расписанием, проступали сквозь краску буквы: лето — это лишь короткая передышка перед огромной нескончаемой зимой. Отец посмотрел туда, куда смотрел сын, и сказал: правильно написано...

© Термостат, 2026
© Автор, 2026

Термостат
Термостат

ТЕРМОСТАТ

© 2026 Термостат, CC BY-NC-SA 4.0
https://vk.ru/mir_termostat
18+

Глава I

Ветер в Тени дул всегда в спину.

Он не менялся ни утром, ни ночью, ни в те часы, которые здесь по привычке продолжали называть полднем; не крепчал и не стихал, не приносил ни запахов, ни погоды — он просто был, как бывает у дороги уклон, и за четыре месяца люди разучились ходить иначе, чем чуть откинувшись назад, упираясь пятками, как ходят под гору с грузом на плечах. На север ходили согнувшись вдвое, закрыв лицо локтем. На север почти никто и не ходил.

Ветер шёл на юг, к Трубе, и нёс к ней всё, что не было прибито или зарыто: пыль, обрывки бумаги, стреляные гильзы, если их не подобрать сразу, дым полевых кухонь, крик, — и всё это уходило туда, в ту сторону, где половина неба стояла чёрной. Не тёмной, как бывает перед грозой, и не ночной, со звёздами и глубиной, а именно чёрной, плотной, без единого просвета, как будто с юга на небо наползла не туча, а вторая земля, и легла на первую, и между ними остался только этот узкий, продутый, серый зазор, по которому шли люди.

Солнце в Тени видели редко. Оно выходило из-под чёрного края на два-три часа в сутки, низко, сзади, на севере, и светило оттуда красным, тусклым, без тепла — на него можно было смотреть не щурясь, как на остывающий уголь, — и тени людей ложились впереди них, длинные, и шли к Трубе первыми. Потом солнце уходило под край, и наступало то, что здесь считалось днём: ровный бурый сумрак, в котором различались лица на десять шагов и предметы на пятьдесят, а дальше всё сливалось в одну движущуюся серую муть.

Пыль была чёрная. Она лежала на всём ровным слоем, как лежит первый снег, только не таяла и не хрустела, а глушила шаги; она набивалась в складки шинелей, в стволы, в ноздри, в уши, под ногти, в трещины губ; её ели с хлебом, потому что хлеб нельзя было есть иначе, и пили с водой, и она стояла на зубах всегда — мягкая, жирная, без вкуса. Когда откашливались — плевали чёрным. Слёзы, если у кого они ещё случались, оставляли на лице чёрные дорожки. По этим дорожкам, а не по глазам, здесь узнавали, что человек плакал, и не спрашивали.

Саму Трубу с этого места не было видно — за уступом плоскогорья, за поднятой пылью. Но видно было, что она делает.

Столб стоял впереди от земли до неба. Шириной с город, чёрный, чуть перекрученный, как жгут, который выжимают, он поднимался ровно, без рывков, без языков и клубов, какие бывают у дыма, — поднимался, как поднимается вода в трубе, — и на той высоте, где глаз переставал понимать расстояние, разворачивался во все стороны и ложился по небу на север. Над ними. Над фронтом. Над всем, что осталось позади, над лесами и станциями, над Севером, где сейчас, наверное, шёл снег.

Звук шёл оттуда всегда, и на него давно не оборачивались. Низкий, ниже слуха, он жил в грудине и в корнях зубов, во фляге на боку — вода в ней стояла мелкой ровной рябью, — в земле, если лечь на неё щекой. Новенькие первую неделю не могли из-за него спать. Потом не могли спать без него.

А над столбом, если ветер на минуту сдувал пыль и открывалась чернота, в этой черноте стояла одна звезда. Она не двигалась. Дома, на Севере, она висела над самым южным краем неба, низко, над лесом, и звалась Гвоздём: детям говорили, что на нём держится небо, а когда дети подрастали, добавляли — ихний. За четыре года войны Гвоздь поднимался. По нему, а не по картам, солдаты мерили, сколько прошли: в первую зиму он стоял на ладонь над лесом, во вторую — на две, а теперь висел почти над самым столбом, точно над ним, как над остриём, и ни у кого не осталось сомнений, чей он и что держит.

Их было двадцать восемь. Отряд шёл растянутой цепочкой, дистанция пять шагов, потому что в Тени стреляли редко, но метко — южане пристрелялись здесь за месяцы, — и потому что так меньше пыли доставалось идущим сзади. Первым шёл Старшой, коротко, с той экономной злостью в походке, какая бывает у людей, переживших свою третью зиму на фронте и не ждущих четвёртой. За ним — двое с лентами. Потом Плотник и Кум, впряжённые в носилочную раму: на раме, в чехле из брезента, лежала длинная серая труба размером с газовый баллон, шестьдесят два килограмма, и звалась она Самоваром. Никто не называл её иначе. Слово «изделие», написанное в накладных, здесь не приживалось, как не приживались в Тени вообще все слова, привезённые с Севера в бумагах.

Термос шёл седьмым. Он всегда ходил седьмым, если мог, — не спереди, где первыми ловят, и не сзади, где первыми отстают, — и этой привычке было столько же лет, сколько войне.

Позади него шёл Малой. На рюкзаке у Малого белой краской, крупно, ещё в учебке было выведено: «ЖИЗНЬ — ЭТО БОЛЬ!» — тогда это было смешно, потом смешно быть перестало, а надпись осталась, и теперь в бурой мути она была единственным белым пятном на километр во все стороны и болталась перед глазами у замыкающего, как фонарь.

— Термос, — сказал Малой сзади. — Ты чего хромаешь?

— Колено.

— Давно?

— Разболелось. У меня такое бывает в холодную погоду. — Он помолчал, переставляя ногу через воронку. — То есть девять месяцев в году.

Малой хмыкнул. Пыль под ногами глушила шаги, и звук из-под земли держал ноту, и ветер толкал в спину, ровно, терпеливо, как толкают того, кто и сам идёт.

До Порога оставалось два дня.

Глава II

На Севере зима приходила в один и тот же день.

Не приблизительно, не «около», как бывает с погодой, о которой спорят, — в один и тот же. Река у станции вставала ночью на седьмые сутки после того, как облетала последняя лиственница на бугре за водокачкой, и вставала сразу, за одну ночь, звонко, так что утром по ней уже ходили; первый снег ложился на четвёртые сутки после реки и больше не сходил; и так далее, и так далее — до самого весеннего ледохода, который тоже был расписан, как поезд. Календари на Севере печатали на десять лет вперёд, мелко, с приметами и сроками, и они не ошибались. Старики говорили, что и при их дедах не ошибались. Это не считалось ни удивительным, ни хорошим, ни плохим. Это считалось погодой.

Про лето тоже всё знали. На вокзале станции Лисья, под расписанием, на серой стене поверх старой краски, кто-то когда-то вывел чёрной кистью, ровно, как пишут вывески: «ЛЕТО — ЭТО ЛИШЬ КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА ПЕРЕД ОГРОМНОЙ НЕСКОНЧАЕМОЙ ЗИМОЙ». Кто написал и зачем, не знал никто. Надпись не закрашивали — не из уважения, а потому что на станции никогда не хватало краски на то, что не течёт, — а когда однажды закрасили, буквы через год проступили сквозь новый слой, серые на сером, и с тех пор их оставили в покое. Это была первая фраза, которую он прочёл сам, целиком, по слогам, стоя

с отцом на платформе в ожидании товарного. Ему было шесть. Отец посмотрел, куда он смотрит, и сказал: правильно написано.

Рядом с надписью, на постаменте из тёсаного камня, лежали четыре лапы.

Когда-то на постаменте был лев — железный, литой, в полтора человеческих роста, с гривой и пастью; он стоял тут с тех времён, когда станцию строили и когда на Севере ещё ставили львов. Потом было плохое десятилетие, и льва срезали на металл. Лапы оставили. Никто не мог объяснить почему: то ли они были приварены так, что дороже выходило резать, чем везти, то ли резчики к утру устали, то ли кому-то из них стало не по себе, — но с тех пор на постаменте у вокзала лежали четыре железные лапы с когтями, обломанные у щиколоток, и дети на них сидели, и приезжие фотографировались, и все на станции говорили не «у вокзала», а «у лап».

Зимы были долгие, и снега было много. Снег убирали все — это не обсуждалось, как не обсуждается, что надо дышать: в семь утра на каждой улице выходили жильцы с лопатами, по одному от квартиры, и чистили свою норму до асфальта, и участковый ходил вдоль и мерил шагами. Кто не выходил, платил. Кто не платил, выходил всё равно, но уже не по своей воле. Большинство ненавидело это с той спокойной бытовой ненавистью, с какой ненавидят зубную боль или очередь, а он — нет. Он любил убирать снег. Он надевал наушники, включал старую музыку, — у него был дешёвый плеер, который надо было согревать в кармане, чтобы не вставал, — и полтора часа лопата ходила сама, а он был не здесь. Снег летел через плечо; в наушниках пели; никто ничего от него не хотел, потому что он делал ровно то, что надо, и это было видно издалека. Он потом думал, что, может быть, это были самые чистые полтора часа в сутках. Никому он этого не говорил, разумеется. Любить снег на Севере — всё равно что любить тюрьму.

Однажды в такое утро с крыши напротив упал человек. Крыши тоже чистили — по очереди, по подъездам, — и кто-то сорвался вместе с пластом, и лёг на расчищенный до асфальта тротуар без звука, потому что снег, летевший с ним, упал первым. Все остановились. Подошли. Кто-то присел, кто-то побежал за участковым. Мужик с соседнего дома, немолодой, с чёрной лопатой на плече, постоял, посмотрел сверху вниз, выдохнул белый пар и сказал громко, весело, на всю улицу:

— Какое замечательное утро! А ведь ещё весь день впереди!

Никто не засмеялся, но и не одёрнул. Мужик пошёл дочищать свою норму. Через десять минут дочищали все. Плеер в кармане остыл и встал, и он стоял так до вечера, потому что доставать его при людях не хотелось.

Он потом много лет помнил эту фразу — не как жестокость и не как шутку, а как что-то третье, чему он не находил названия и что было, кажется, самой сутью его земли: в ней было утро, был впереди весь день, и был человек на тротуаре, и всё это было правдой одновременно, и никто не собирался выбирать.

Глава III

Порог брали одиннадцать дней.

О том, как его брали, не рассказывают: не было ни манёвра, ни хитрости, ни высоты, которую можно взять в обход, — была галерея. Устье, чёрная дыра в чёрной стене, шириной в четыре железнодорожных пути и высотой в три этажа, и перед ней на километр вглубь — то, что южане строили здесь веками и достраивали последние месяцы: стены из тёсаного камня, потом стены из бетона, потом стены из мешков и рельсов, потом стены из своих мёртвых. Всё это надо было пройти. Не обойти — обойти было негде: слева и справа от устья вставала Стена, та, настоящая, ихняя, гладкая, без швов, уходящая вверх, пока хватало глаз, и в неё за эти

месяцы били всем, что было, и на ней не осталось даже царапины. Копоть — да. Царапины — нет.

Так что шли в устье. Волнами, по расписанию, как поезда. Отряд, который берегли для того, что за устьем, на третий день перестали беречь: людей не хватало. Термос ходил четыре раза, и четыре раза откатывался вместе с тем, что оставалось от волны, и каждый раз то, что оставалось, было меньше, и каждый раз в тылу уже стояли новые, свежие, с Севера, в необмятых шинелях, и смотрели на возвращавшихся так, как смотрят на чужих. Пятая волна дошла. Не потому что была лучше — потому что южане кончились раньше.

В галерее было тихо. После одиннадцати дней снаружи тишина внутри давила на уши, как вода; звук из-под земли здесь был громче, и одновременно казалось, что он стал тише, — как будто они вошли внутрь самого звука, и снаружи его слышно было лучше, чем изнутри. Пол под ногами был ровный, как лёд, и такой же скользкий под пылью. Стены уходили вверх и смыкались где-то, где не доставал фонарь. Через каждые сто шагов в стенах были ниши, и в нишах стояло то, что оставили Хранители: плошки, оплывшие свечи, кости мелких животных, монеты, детские туфли, — южане веками несли сюда всё, что несут туда, откуда не ждут ответа.

Один Хранитель попался живым. Старик, в сером, с бритой головой, сидел у последней стены на камне, сложив руки на коленях, — и когда к нему подошли, поднял глаза без всякого выражения, как поднимают глаза от книги. Старшой присел перед ним, спросил на южном, коряво, по-солдатски: где пульт. Старик ответил длинно и спокойно. Плотник, который до войны десять лет гонял фуры на юг и понимал, перевёл:

— Говорит, ручки нет. Говорит, они тоже искали. Давно. Говорит, за стеной ничего нет, только ветер.

— Врёт, — сказал Старшой, вставая.

Никто не спорил. Старика оставили сидеть — не из милости, а потому что он не двигался, а в тех, кто не двигается, на одиннадцатый день перестают стрелять из экономии.

У самой стены лежал южанин — молодой, в хорошей форме, лицом вниз, с растёкшимся под ним тёмным пятном, которое пыль уже успела обвести серым. Малой тронул его сапогом.

— Он, похоже, дохлый.

— И что? — сказал Кум. Кум был большой, круглолицый, с вечно обветренными губами, и говорил всегда чуть громче, чем нужно, как говорят люди, которые с детства привыкли перекрикивать. Он поправил лямку рамы на плече и посмотрел на южанина хозяйственно, без злобы, как смотрят на дрова. — Если бы было можно, я бы из него офигенную тушёнку сделал. Но так не принято.

Он помолчал и добавил, уже отворачиваясь:

— Пока.

Малой хихикнул. Термос не повернул головы. Он смотрел на стену.

Стена была сложена из камня — южного, желтоватого, тёсаного вручную, — и было видно, что складывали её не в один раз: нижние ряды потемнели и осели, верхние были свежее, а самый верх, под сводом, доложен наспех, уже в эту войну, кое-как, с раствором, выдавленным из швов. Стена перегораживала галерею целиком, от пола до свода, от края до края. По ней, во всю ширину, на высоте человеческого роста, шли рисунки.

Они были простые, как на детских кубиках, и выдавлены в камне глубоко, чтобы держались. Человек — палочки и кружок. Столб — чёрная вертикальная полоса. Солнце с лучами. Волна. Ряд домиков. Человек, стоящий у столба и протянувший к нему руку, и та же фигура, перечёркнутая наискось. Столб, сломанный посередине, и под ним — солнце с лучами, много лучей, больше, чем у первого, и волна, которая шла поверх домиков. Дальше камень был сколот.

Под рисунками, ниже, шла надпись — уже другая, южная, вязью, свежей краской, поверх более старой, той же самой, стёршейся.

— Что там? — спросил Старшой.

Плотник прочёл, шевеля губами, дважды.

— «Когда река встанет, море вернётся».

— Какая река?

— Не знаю. Так написано.

— Ну и хрен с ним, — сказал Кум.

Заряды ставили под нижние ряды, где камень был мягче. Все отошли за поворот. Хранитель остался сидеть, где сидел, и когда Термос обернулся в последний раз, старик по-прежнему смотрел перед собой, на стену, которую его люди складывали столько поколений, чтобы ничего не выпустить и ничего не впустить, и лицо у него было такое, будто он смотрит на реку.

Потом ударило.

Пыль в галерее встала стеной и не хотела оседать — ей некуда было оседать, ветра тут не было, — и они вошли в неё на ощупь, спотыкаясь о битый камень, и Термос почувствовал, что пола под ногами стало больше, чем было: он не кончался. Он шёл дальше. Впереди, за пылью, в темноте, куда не доставали фонари, галерея продолжалась, и в ней стоял тот же звук, но уже не из-под земли, а отовсюду, — и было, вопреки всему, тепло.

Первый раз за четыре месяца. Первый раз, кажется, за четыре года.

Глава IV

Ночью, когда он спал, кто-то полез в сарай.

Ему было девять. Ранчо стояло на краю леса, в трёх километрах от Лисьей, и называлось ранчо, хотя было домом, двумя сараями и огородом за жердяной изгородью, — так называли на Севере всё, что стояло на отшибе и кормилось само. Отец держал скотину, коптил, возил топливо на станцию и обратно, и топливо стояло у него в дальнем сарае в железных бочках, и сарай этот отец на ночь минировал. Это не было чем-то необычным. Топливо на Севере стоило дороже всего, кроме еды, а еды в тот год хватало, — и в каждом дворе на отшибе было что-то такое: растяжка, самострел, собака, которую не кормили с четверга. Отец предпочитал мину. Он говорил: собака может пожалеть.

Грохнуло так, что он проснулся уже на полу, не помня, как с кровати упал, и в окне было светло, как днём, и свет этот был рыжий и качался. Отец в дверях натягивал сапоги — молча, без спешки, как натягивают сапоги на работу. Взял ружьё. Сказал: сиди. Он не сидел. Он вышел на крыльцо и смотрел, как отец идёт через двор в рыжем свете, и как за отцом идёт его тень, длинная, до самого леса.

Сарая не было. Была яма, и вокруг ямы горело то, что разлетелось, — доски, солома, что-то тряпичное, — и от жара воздух над огородом дрожал, и снег на изгороди таял и капал. А чуть в стороне, у изгороди, лежало то, что кричало. Оно кричало на одной ноте, без слов, и не переставало ни на вдох, и было непонятно, как можно кричать, не вдыхая.

Отец подошёл и посветил.

Это был сосед — с дальнего ранчо, за ручьём, у которого было четверо детей и жена, и который прошлой осенью помогал им поднимать крышу. Он лежал на спине. Ног у него не было выше колен, и левой руки не было тоже, а правая была, и правой он всё пытался схватить что-то в воздухе над собой, и не мог, и кричал. Он был совершенно живой. Глаза у него были открыты, и он видел отца, и, увидев, закричал иначе — с надеждой.

Отец стоял над ним долго. Огонь горел. Мальчик на крыльце дрожал в одном белье и не мог уйти.

Потом отец сказал — не громко, не зло, ровно, как говорят с людьми, которые сделали глупость:

— Ну и зачем ты туда полез? Мог бы просто попросить у меня немного топлива.

Сосед кричал.

— А теперь, — сказал отец, — придётся пойти и сжечь твой дом с женой и всеми твоими детьми, пока они маленькие. Чтобы никто никогда не пришёл за тебя мстить.

Он сказал это без угрозы. Он сказал это так, как говорят о работе, которую теперь придётся сделать, хотя никто её не хотел, — с усталостью, с досадой на лишнее, — и сосед, кажется, услышал именно это, потому что перестал кричать. На секунду. А потом закричал так, как не кричал до этого, и мальчик закрыл уши, но продолжал смотреть.

Отец повесил ружьё на плечо, взял соседа за ворот и потащил к лесу. Сосед был тяжёлый, и тащить было неудобно, и отец останавливался и перехватывал, и снова тащил, и то, что оставалось за ними на снегу, было чёрным в рыжем свете. Потом они скрылись за первыми деревьями, и мальчик слышал, как отец там рубит мёрзлую землю лопатой — отец взял лопату с крыльца, проходя мимо, и не посмотрел на него, — и как сосед перестал кричать, и как лопата продолжала работать ещё долго после этого, ровно, с одинаковыми промежутками, как работают, когда знают, что торопиться некуда.

Когда отец вернулся, огонь уже сел. Отец умылся из бочки, вытер лицо рукавом, взял в пристройке канистру и пошёл со двора к ручью. Мальчик стоял на крыльце. Он не пошёл спать. Он стоял, пока не начал синеть, и потом стоял ещё, и на востоке над лесом, там, где за ручьём было соседское ранчо, небо не светлело, потому что до рассвета было ещё далеко, но в какой-то момент над самыми верхушками деревьев встало ровное, тихое, не мигающее зарево — и стояло, и потом опало.

Отец вернулся к утру. Затопил печь. Поставил чайник. Сказал: иди спать, чего стоишь. Он пошёл. Он лёг и не спал, и слышал, как отец на кухне ест, — обыкновенно, с ложкой, стуча ею о край миски, — и звук был такой же, как во все другие утра.

Про соседа больше не говорили. Ни в тот день, ни потом, никогда, ни он, ни отец, ни на станции, где все всё знали, потому что там всегда всё знали. Ранчо за ручьём стояло чёрное до следующего лета, потом его разобрали на брёвна, и на этом месте выросла малина, и он туда ходил, когда ему было двенадцать и тринадцать, и малина была крупная, и он ел.

Глава V

Внутри было тепло, и от этого сначала стало страшнее, чем снаружи.

Тепло шло из глубины, ровное, сухое, не печное и не солнечное, а какое-то третье, — как из открытой двери в комнату, где долго горел свет, — и оно не грело, а обнимало, и люди, привыкшие за годы к тому, что тепло надо добывать и охранять, шли в него недоверчиво, как в засаду. Их было двенадцать — всё, что осталось от двадцати восьми после Порога, — и первый километр никто не разговаривал. Потом Малой снял перчатки. Потом сняли все.

Галерея шла прямо и чуть под уклон. Ширина её не менялась; высота, когда фонари наконец нащупали свод, оказалась метров двадцать, и свод был не круглый и не сводчатый, а ровный, плоский, будто галерею не прокладывали, а отливали целиком. В стенах не было ни швов, ни стыков, ни следов инструмента. Плотник на первом привале провёл по стене ножом, по привычке, и лезвие пошло по ней, как по льду, не оставив ничего: ни борозды, ни блеска, ни звука.

— Это не камень, — сказал он.

— А что?

— Не знаю. Не камень.

Он убрал нож и больше стену не трогал.

Пыль здесь лежала иначе. Снаружи она была живая, летучая, всё время шла куда-то с ветром; здесь ветра не было, и пыль лежала ровно, плотно, слежавшись, — не пыль уже, а мягкий сплошной ковёр в ладонь толщиной, серый, без единого следа, — и их сапоги первыми

за всё время, сколько она тут лежала, вошли в неё и оставили отпечатки, чёткие, до рисунка подошвы. Термос обернулся на втором привале и посмотрел назад: цепочка следов уходила в темноту, к устью, и это была единственная вещь в галерее, сделанная людьми, и она была сделана только что.

На четвёртом километре галерея раздалась в стороны и кончилась залом.

Фонари потерялись в нём. Свет уходил и не возвращался, стены не отвечали, и только пол под ногами говорил, что зал есть, — но пол здесь стал другим. Он хрустел. Сначала подумали: щебень, или стекло, или снова камень, — но щебень не бывает таким лёгким и таким сухим, и Кум присел с фонарём и разгрёб ладонью.

Кости. Маленькие, тонкие, полые, светлые, — перья истлели, а кости остались, — они лежали слоем, и под слоем был ещё слой, и ещё, и фонарь, положенный на бок, показал, что весь пол зала, от стены до стены, куда доставал луч, был не полом, а этим. Птицы. Всё, что летало здесь и попало в ветер и не смогло вывернуться, всё, сколько его было, за всё время, какое эта дыра в горе тянула в себя воздух, — всё это лежало здесь, принесённое и оставленное, и на нём стоял отряд.

— Сколько же их, — сказал Малой.

Никто не ответил. Термос стоял и не двигался. Ему нужно было сделать шаг, и он не мог, и это было глупо, и он знал, что это глупо, потому что они мёртвые, потому что они давно уже не птицы, а известь, и потому что вся его жизнь состояла из того, что он делал шаг туда, куда надо, — а нога не шла. Под ней, под подошвой, лежало что-то маленькое, пустое, и он чувствовал сквозь подошву, как оно поддаётся.

Ему однажды снилось, что он бегает вокруг озера.

Он никогда в жизни не бегал вокруг озера. Всегда было некогда, да и бегать без причины на Севере значило привлекать внимание. А во сне был парк, и тёплый день, и дорожка вдоль воды, и он бежал по ней легко, не задыхаясь, и трава по обе стороны дорожки стояла высокая, по колено, — и в траве повсюду копошились котята. Маленькие, слепые ещё, рыжие, белые, полосатые, — они лезли из травы на дорожку, они были везде, под каждым шагом, и он бежал, и не мог остановиться, и боялся на них наступить. Он выворачивал ступню, он ставил ногу боком, он выбирал, куда ступить, и котят становилось больше, и трава шевелилась ими до самого горизонта, и он бежал, и бежал, и ни на одного не наступил. Он проснулся от усталости — так устают наяву, — и лежал, и слушал, как течёт батарея, и ему было хорошо, и потом ему стало стыдно, что хорошо от такого.

— Термос, — сказал Старшой из темноты впереди. — Чего встал.

Он сделал шаг. Под подошвой хрустнуло. Он сделал второй, и третий, и дальше уже не считал.

Зал они переходили сорок минут. К концу все шли, не глядя под ноги, и хруст стоял такой, будто по залу шёл не отряд, а пожар по сухому лесу, и в этом звуке было что-то, от чего Кум, шедший впереди Термоса под своей рамой, вдруг начал негромко насвистывать. Никто ему не сказал заткнуться.

На той стороне зала были три прохода. Один дышал.

Из него шёл воздух — не ветер, а именно воздух, ровный, тёплый, ощутимый ладонью, как дыхание животного, — и Старшой сунулся туда с фонарём и сразу вышел, и лицо у него было такое, будто он заглянул в колодец, в котором нет дна. Он ничего не сказал. Пошли во второй.

Глава VI

Кукла была не его. Кукла была матери.

Мать уехала на юг, когда ему было семь; так на Севере говорили о женщинах — «уехала на юг», — и это могло означать что угодно, от билета на поезд до ямы за огородом, и никто не уточнял, уточнять было не принято. Он думал, что билет. Он думал так всю жизнь, и у него не было для этого никаких оснований. Кукла была старая, тряпичная, с фарфоровым лицом, в котором один глаз был нарисован чуть выше другого, и от этого казалось, что она всегда прислушивается. Матери она досталась от её матери. Она сидела на комоде в комнате, где спал он, потому что отец в ту комнату не заходил.

Он никому никогда не говорил, чего хотел. Он хотел, чтобы она ожила.

Не как в сказках — там, где оживают, всегда что-то потом отбирают взамен, — а просто: чтобы однажды утром он открыл глаза, а она сидит на комоде иначе. Чуть повернувшись. Чтобы у неё изменилось лицо. Он смотрел на неё перед сном подолгу, не мигая, пока глаза не начинали слезиться, и ждал, — и ему казалось иногда, на самом краю сна, что вот сейчас, — и он засыпал, и утром она сидела так же. Он думал, что она просто ещё не решилась. Что он должен как-то показать ей, что готов. Он ставил перед ней на комод хлеб. Он говорил с ней — шёпотом, под одеялом, отвернувшись к стене, чтобы даже она не видела, что он говорит с ней. Он не говорил этого никому. Он бы умер, если бы кто-нибудь узнал.

Когда ему было четырнадцать, он вынес её на помойку.

Он вынес её не потому, что перестал хотеть, а потому, что понял, что не перестанет. Что это будет с ним всегда, если не вырезать, — как вырезают из мяса то, что в нём завелось. Мужчина на Севере не ждёт, что кукла оживёт. Мужчина на Севере вообще ничего не ждёт: он смотрит, что есть, и решает, что делать. Он завернул её в газету, чтобы никто во дворе не увидел, что несёт, и донёс до баков за котельной, и положил сверху, на пакет с очистками, и отошёл. И вернулся, и развернул газету, потому что в газете она задохнётся, — и понял, что подумал это, и разозлился на себя так, как не злился ни на кого, — и повернул её лицом вниз. И пошёл.

И на полдороге к дому почувствовал, что она смотрит ему в спину.

Он не обернулся. Он шёл, и между лопаток у него было такое место, круглое, размером с монету, в которое смотрели — без обиды, без упрёка, а с тем спокойным, немигающим вниманием, с каким прислушивалась она к нему всегда, — и он шёл, и держал спину прямо, и не побежал, и не обернулся, и до дома дошёл ровно. С тех пор прошло тридцать лет. Она снилась ему всё это время — не часто, раз в год, в два, — всегда сидящая: на комоде, на пне, на подоконнике в чужой квартире, на лавке у вокзала, — и всегда чуть повёрнутая к нему, и с тем же лицом, где один глаз выше другого. Она никогда ничего не говорила во сне. Она ничего не просила. От этого было хуже всего.

Он просыпался и первым делом проверял лицо — руками, в темноте, — не осталось ли на нём чего-нибудь. И не оставалось. И он вставал, и ставил чайник, и жил дальше, и был уверен, что никто, ни один человек на свете не догадывается, что в нём это есть. В этом он был совершенно прав. Никто не догадывался.

Он бы отдал всё, чтобы не догадывался и он сам.

Глава VII

Свет в стенах зажигался впереди и гас позади.

Его заметили не сразу — фонари били сильнее, — а когда заметили, выключили фонари, чтобы проверить, и постояли в темноте, и темнота не была полной. Стены светились. Слабо, ровно, серым, как светится небо перед рассветом, когда ещё нет ни солнца, ни цвета, а есть только то, что уже не ночь, — и свет этот шёл впереди них шагов на сорок, и там кончался, и сзади, шагах в сорока, тоже кончался, и они шли внутри него, как идут внутри фонаря. Стоило остановиться — свет стоял. Стоило пойти — шёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.